

Александр Куприн

На покое



Александр Иванович Куприн

На покое

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2476535

Аннотация

«Когда единственный сын купца 1-й гильдии Нила Овсянникова, после долгих беспутных скитаний из труппы в труппу, умер от чахотки и пьянства в наровчатской городской больнице, то отец, не только отказывавший сыну при его жизни в помощи, но даже грозивший ему торжественным проклятием при отверстых царских вратах, основал в годовщину его смерти „Убежище для престарелых немощных артистов имени Алексея Ниловича Овсянникова“...»

Содержание

I	4
II	16
III	24
IV	31
V	38
VI	47

Александр Иванович Куприн На покое

I

Когда единственный сын купца 1-й гильдии Нила Овсянникова, после долгих беспутных скитаний из труппы в труппу, умер от чахотки и пьянства в нарочатской городской больнице, то отец, не только отказывавший сыну при его жизни в помощи, но даже грозивший ему торжественным проклятием при отверстых царских воротах, основал в годовщину его смерти «Убежище для престарелых немощных артистов имени Алексея Ниловича Овсянникова». Оттого ли, что учреждение это находилось в глухом губернском городе, или по другим причинам, но жильцов в нем всегда бывало мало. Убежище помещалось в опустевшем барском особняке, все комнаты которого давным-давно пришли в ветхость, за исключением громадной залы с паркетным полом, венецианскими окнами и белыми, крашенными известкой, кривыми от времени колоннами. В этой зале и ютились осенью

1899 года пятеро старых, бездомных актеров, загнанных сюда нуждой и болезнями.

Посредине залы стоял овальный обеденный стол, обтянутый желтой, под мрамор, клеенкой, а у стен между колоннами размещались кровати, и около каждой по шкафчику, совершенно так же, как это заведено в больницах и пансионах. Венецианских окон никогда не отворяли из боязни сквозняка, от этого в комнате прочно установился запах нечистоплотной, холостой старости – запах застоявшегося табачного дыма, грязного белья и больницы. Вверху, между стенами и потолком, всегда висела серая, пыльная бахрома прошлогодней паутины.

Лучшим местом считался угол около большой голландской печи, старинные изразцы которой были разрисованы синими тюльпанами. Здесь зимой бывало очень тепло, а широкая печь, отгораживая с одной стороны кровать, придавала ей до некоторой степени вид отдельного жилья. В этом привилегированном месте устроился самый давний обитатель овсянниковского дома, бывший опереточный тенор Лидин-Байдаров, слабоумный, тупой и необыкновенно спесивый мужчина, с трудом носивший на тонких, изуродованных подагрой ногах свое грузное и немощное тело. Попав в убежище с самого дня его основания, он держал себя в нем хозяином и первый дал тон сквер-

ным анекдотам и циничным ругательствам, никогда не прекращавшимся в общих разговорах. Он же покрывал белые колонны залы и стенки уборной теми гнусными рисунками и омерзительными изречениями в стихах и прозе, на которые было неистоимо его болезненное воображение тайного эротомана.

По другую сторону печи, ближе к окнам, помещался бывший суфлер Иван Степанович – плешивый, беззубый, сморщенный старикашка. В былые времена весь театральный мир звал его фамильярно «Стаканычем»; это прозвище сохранилось за ним и в убежище. Стаканыч был человек кроткий, набожный, сильно глуховатый на оба уха и, как все глухие, застенчивый. Ежедневно, по нескольку раз, Лидин-Байдаров развлекался тем, что, сохраняя на лице озабоченное выражение, говорил старому суфлеру издали всякие сальности, на что Стаканыч улыбался ласковой смущенной улыбкой, торопливо кивал головой и отвечал невпопад, к великому удовольствию бывшего опереточного премьера, которому эта шутка никогда не надоедала.

С утра до вечера Стаканыч мастерил из разноцветных бумажек, тонкой проволоки и бисера какие-то удивительно хитрые коробочки. Раз или два в год он отсылал их партиями своему сыну Васе, служившему где-то в уездном театре, «на выходах». Если же он

не клеил коробочек, то раскладывал на своей кровати пасьянсы, которых знал чрезвычайно много.

По ту же сторону, но совсем у окон, обитал старый трагик Славянов-Райский. Изю всех пятерых он один пользовался некогда широкой и шумной известностью. В продолжение семи лет его имя, напечатанное в афишах аршинными буквами, гремело по всем провинциальным городам России. Но через год после его угарного заката публика и печать сразу и совершенно позабыли о нем. За кулисами, впрочем, старые актеры долго еще вспоминали о небывалых и безумных успехах его гастролей, о бешеных деньгах, которые он разбрасывал в своих легендарных кутежах, и о скандалах и драках, которые он устраивал в каждом городе.

С товарищами по общежитию Славянов-Райский держался надменно и был презрительно неразговорчив. По целым дням он лежал на кровати, молчал и без перерыва курил огромные самодельные папиросы. Иногда же, внезапно вскочив, он принимался ходить взад и вперед по зале, от окон к дверям и обратно, мелкими и быстрыми шагами. И во время этой лихорадочной беготни он делал руками перед лицом короткие негодующие движения и отрывисто бормотал непонятные фразы...

Напротив стояла кровать «Дедушки», которого, так

же как и Стаканыча, весь актерский мир знал больше по этому прозвищу, чем по фамилии. Уже целых три месяца Дедушка не вставал с постели и, обросший белыми мягкими длинными волосами, лежал иссохший и благообразный, напоминая в своей белой рубашке иконописное изображение отходящего угодника. Он говорил мало, с передышками, глухим и тонким старческим голосом и с таким трудом, как будто бы стонал на каждом слове. У него болела грудь, но кашлять по-настоящему ему было трудно, и он только кряхтел слабо и жалобно. Дедушка был очень стар, вероятно, старше всех современных русских актеров. В прежние же время он был известен во многих труппах как хороший актер на амплуа резонеров и дельный, грамотный режиссер.

Пятым и последним обитателем убежища был комический актер Михаленко – раздутый водянкой, задыхающийся от астмы циник. Хрипя, еле переводя дыхание, с трудом выжимая из своей оплывшей груди слова, он, едва проснувшись, принимался браниться с кем-нибудь из соседей и прекращал это занятие, только ложась вечером в постель. Язык у него был острый, злой и беспощадно, по-актерски, грубый. В нем вечно кипела завистливая, истерическая злоба, заставлявшая его интриговать, сплетничать и писать на своих товарищей нелепые анонимные доно-

сы попечителям убежища. В сквернословии Михаленко состязался с Лидиным-Байдаровым, уступая опереточному тенору в изумительной способности изобретать и сплестать между собою самые невероятные гнусности, но превосходя его злой и меткой язвительностью. Живая память сохранила ему неиссякаемый запас мерзостей закулисной жизни: любовных связей, скандалов, драк, неудач и преступлений. Ссорясь с соседями, он умел извлекать из их театрального прошлого наиболее постыдные, наиболее чувствительные страницы и так разрисовывал их своим беззастенчивым юмором, что за ним всегда оставалось последнее слово. Один глаз у него был вставной – тусклый, маленький и слезливый, зато здоровый огромным голубым шаром вылезал из своей орбиты и всегда носил разгневанное выражение.

Жизнь в убежище текла однообразно и скучно. Просыпались актеры очень рано, зимою задолго до света и тотчас же, в ожидании чая, еще не умывшись, принимались курить. Со сна все чувствовали себя злыми и обессиленными и кашляли утренним старческим, давящимся кашлем. И так как в этой убогой жизни неизменно повторялись не только дни, но и слова и жесты, то всякий заранее ждал, что Михаленко, задыхаясь и откашливаясь, непременно скажет старую остроту:

– Вот это настоящий акцизный кашель!..

А Дедушка, знавший когда-то иностранные языки и до сих пор не упускавший случая хвастнуть этим, прибавлял своим стонущим фальцетом:

– Bierhusten. Это у немцев называется Bierhusten. Пивной кашель...

Потом служивший при убежище отставной николаевский солдат Тихон приносил кипятик и неизменные сайки. Актеры заваривали чайники и уносили их к своим столикам. Пили чай очень долго и помногу, пили с кряхтеньем и вздохами, но молча. После чая рассказывали сны и толковали их: видеть реку означало близкую дорогу, вши и грязь предвещали неожиданные деньги, мертвец – дурную погоду. Сновидения Лидина-Байдарова всегда заключали в себе какую-нибудь сладострастную пакость. Затем шло на целый день лежанье на грязных включенных постелях с неприбранными, засаленными одеялами. От скуки и безделья курили страшно много. Иногда посылали Тихона за газетой, но читали ее только двое: Михаленко, ревниво следивший до сих пор за именами бывших товарищей по сцене, и Стаканыч, которого больше всего интересовали описания грабежей, столкновений поездов и военных парадов. Дедушка плохо видел и потому просил изредка почитать себе вслух. Но из этого мало выходило толку: беззубый

суфлер шепелявил, брызгал слюной, и у него нельзя было разобрать ни слова, а Михаленко, читая, приделывал к каждой фразе такие непристойные окончания, что Дедушка в конце концов махал рукою и говорил сердито:

– Ну, пошел врать, дурак. Эка мелет мелево!.. Уходи, не хочу слушать.

Разговаривали редко, но подолгу, и всегда кончали ссорой и уличали друг друга в лганье. В большом ходу были анекдоты, причем у каждого обозначалась своя область... Стаканыч, который происходил из духовного звания, умел рассказывать про семинаристов, попов и архиереев; Михаленко был неистощим в закулисных историях и помнил наизусть бесчисленное множество неприличных стихотворных эпиграмм, приписываемых Ленскому, Милославскому, Каратыгину и другим актерам; Байдаров говорил противоземные и совершенно нелепые гадости о женщинах. Впрочем, на последнюю тему все они, не исключая набожного Стаканыча и не встававшего с постели Дедушки, любили поговорить, и их собственное бессилие, их физическая и душевная немощь придавали этим разговорам уродливый и страшный характер. Ни разу, хотя бы случайно, ни один из них не помянул приличным словом женщину, как мать, жену или сестру; женщина была в их представлении ис-

ключительно самкой, – красивым, лукавым и безобразно-похотливым животным.

Иногда актеры вспоминали и свои собственные театральные приключения. Михаленко называл это «кислыми рассказами из прежней жизни», и сами не замечая, они передавали один и тот же эпизод по нескольку раз, в одних и тех же выражениях, с одинаковыми жестами и интонациями; даже цеплялись у них анекдоты и кислые рассказы один за другой все в том же порядке, по одним и тем же ассоциациям мыслей. От этого часто случалось, что, проговорив час или два подряд, актеры вдруг ощущали вместе с усталостью и скукой чувство нестерпимого отвращения к самим себе и к своим сожителям.

Для них не было ничего святого. Все они, не переставая, богохульствовали, и даже полумертвый Дедушка любил рассказывать очень длинный и запутанный анекдот, где Авраам и три странника у дуба Мамврийского играли в карты и совершали разные неприличные вещи. Но по ночам, во время тоскливой старческой бессонницы, когда так назойливо лезли в голову мысли о бестолково прожитой жизни, о собственном немогущем одиночестве, о близкой смерти, – актеры горячо и трусливо веровали в бога, и в ангелов-хранителей, и в святых чудотворцев, и крестились тайком под одеялом, и шептали дикие, им-

провизированные молитвы. Утром вместе с ночными страхами проходила и вера. Один только Стаканыч был сдержаннее и последовательнее других. Он даже пробовал кое-когда, вставши с постели, торопливо, украдкой, креститься на образ, но каждый раз ему мешал Михаленко, который, стоя за ним, шутовски кланялся, размахивал правой рукой, как будто в ней было кадило, и хриплым дьячковским басом вытягивал:

– Паки и паки, съели попа собаки, если бы не дьячки, разорвали бы в клочки...

В два часа актеры обедали и за обедом неизменно ругали непечатной бранью основателя убежища купца 1-й гильдии Овсянникова. Прислуживал им все тот же солдат Тихон; его огорчало, что господа говорят за столом гадости, и иногда он пробовал остановить Михаленку, который был на язык невоздержаннее прочих:

– Не выражались бы вы, господин Михаленко. Кажется, образованный человек, а такие последние слова за хлебом-солью... Совсем даже некрасиво.

После обеда актеры спали тяжелым, нездоровым сном, с храпением и стонами, спали очень долго, часа по четыре, и просыпались только к вечернему чаю, с налитыми кровью глазами, со скверным вкусом во рту, с шумом в ушах и с вялым телом. Во время сна они отлеживали себе руки, ноги и даже головы и, вставши с

кроватей, шатались, как пьяные, и долго не могли сообразить, утро теперь или вечер. После чая опять лежали, курили и рассказывали анекдоты. Часто играли в карты, – в пикет и в шестьдесят шесть, – и непременно на деньги, а проигрыш приписывали к старым карточным долгам, которые иногда достигали десятков тысяч рублей. Удивительнее всего было то, что все они не переставали верить в свое будущее: пройдет сама собою болезнь, подвернется ангажемент, найдутся старые товарищи, и опять начнется веселая, пряная актерская жизнь. Поэтому-то они и хранили, как святыню, в глубине своих спальных шкафчиков старые афиши и газетные вырезки, на которых стояли их имена.

В восемь часов подавали ужин, состоявший из разогретых остатков от обеда. Тотчас же после ужина актеры раздевались и укладывались спать. Но засыпали не скоро. Долго все пятеро ворочались на своих кроватях, и это было самое мучительное время суток. Сильнее давали о себе знать старые, запущенные болезни, нельзя было отогнать печальных и ядовитых мыслей о прошлом, оскорбительнее чувствовалось убожество настоящей жизни. Но страшнее всего было думать о том, что, быть может, один из соседей тихо, незаметно ни для кого, уже умер среди этой ночи и будет лежать до самого утра, молчаливый, таин-

ственный, ужасный. И актеры по несколько раз в ночь окликали друг друга, спрашивая дрожащими и кроткими голосами, который час, или прося одолжить спичку. И долго, долго, до раннего света, слышались в большой комнате, вместе с треском рассыхающегося паркета, старческие вздохи, невнятный бред, глухое покашливание и торопливый шепот...

И так тянулось изо дня в день серое, мелочное существование этих людей, когда-то жадно объедавшихся жизнью. Приятно разнообразилось оно хождением в город, но это удовольствие было сравнительно очень редким, потому что деньги почти никогда не водились в убежище, а без денег не стоило и выходить за ворота. Без денег нельзя было ни купить табаку, ни прокатиться на извозчике, ни зайти к дешевой раскрашенной проститутке, ни посидеть часок-другой в излюбленном ресторане, который более всего притягивает к себе бродяжнические вкусы старых актеров.

II

Четырнадцатого сентября, в праздник воздвижения, в убежище остались только двое жильцов: суфлер Стаканыч и Дедушка. Остальные ушли с утра в город. Михаленко принимал участие в каком-то утреннем спектакле (он время от времени добивался для себя таких приглашений от бывших товарищей по сцене). Поэтому он еще за два дня начал низко и без всякой меры льстить Лидину-Байдарову, превознося его замечательный голос и поразительные успехи у женщин, и в конце концов выпросил у опереточного премьера бумажный воротничок и манжеты, бывшие всего раз в употреблении, а также красный заношенный до лоска галстук. Сам Байдаров по большим праздникам ходил обедать в знакомое купеческое семейство, где его снабжали кое-каким застиранным и перештопанным бельишком, папиросами, мелкими деньгами и кирпичным чаем. Впрочем, эти унижительные подробности своих праздничных визитов он скрывал от товарищей, отчасти из боязни насмешек, а отчасти из скупости, так как он очень не любил, если у него просили займы. Что касается Славянова-Райского, то он накануне получил субсидию из театрального фонда и теперь отправился в город с единствен-

ной целью – провести весь день в излюбленном трактирчике, носившем библейское название «Капернаум», и вернуться в убежище совершенно пьяным.

Дедушка лежал, сложив на животе и сцепив одну с другой большие исхудалые руки с коричневой кожей и резко выступающими наружу костяшками. Весь белый, с белыми волосами, неподвижный и благообразный, он теперь более чем когда-либо походил на святого старца, готовящегося к праведной кончине. Его бледно-серые, выцветшие глаза были упорно устремлены в широкое венецианское окно, где на густой осенней синеве неба медленно раскачивалась, вся озаренная солнцем, золотая круглая верхушка липы. Даже здесь, в душной, пропитанной тяжелым запахом комнате, чувствовалось, что там, за окном, стоит бодрый и холодный осенний день, сияет яркое, но негреющее солнце и тянет крепким ароматом увядающего листа.

Стаканыч, сидя на кровати по-турецки, раскладывал на одеяле старыми, почерневшими и распухшими от времени картами один из самых длинных своих пасьянсов – «двенадцать спящих дев», который он, из уважения к его сложности и числовому наименованию, раскладывал только по двенадцатым праздникам. Вед у Стаканыча был сосредоточенный. Он то подымал вверх брови, морща дряблую кожу на лбу в

длинные, волнообразные складки, то опускал их вниз и сдвигал вместе, отчего над переносьем появлялась короткая, прямая, озабоченная морщинка. Когда же он муслил во рту палец, чтобы взять с колоды карту, от которой пахло стекольной замазкой, и в то же время задумчиво пробежал прищуренными глазами пасьянс, то его губы округлились, как будто он собирался свистать.

– Иван Степаныч, – поди-ка, братец, ко мне, – позвал вдруг Дедушка своим тонким старческим голосом.

– А? Ты меня, что ли, Дедушка? – обернулся суфлер.

– Поди, говорю, на минуточку. Поговорить хочу.

– Сейчас, сейчас, Дедушка, дай только ряд dokonчу. Ну, вот и вся недолга.

Стаканыч перешел на кровать Дедушки и уселся у него в ногах. Старик опять посмотрел в окно на густое, синее, спокойное небо, потом пошевелил сложенными на животе пальцами и длинно вздохнул.

– Ну что, Дедушка, скажешь? – осторожно спросил Стаканыч, слегка похлопывая старика по большой ступне, которая горбом выпячивалась под одеялом.

– Вот что, Стаканыч... – Дедушка перевел глаза на суфлера, но глядел на него так равнодушно, как будто

бы разглядывал что-то сквозь него. – Вот какую я тебе историю скажу. Видел я сегодня во сне Машутку, свою внучку... Есть, брат, у меня такая внучка в Ростове-на-Дону, Марьей ее зовут. Она портниха...

– Портниха? – озабоченно спросил Стаканыч. – Портних видеть – не знаю, что значит. А вот иголку с ниткой или вообще шить что-нибудь – это непременно к дороге...

– К дороге так к дороге. Оно так, пожалуй, и выходит, что к дальней дороге... Но очень бы мне хотелось ее еще раз повидать, перед тем как закончу земные гастроли.

– Что кончу? – переспросил Стаканыч, приставив ладонь рупором к уху.

– Абер глупости... ничего. – У Дедушки было любимое словцо «абер», которое он без нужды совал в свою речь. – Потом глядел я все на небо. Осень теперь, Стаканыч, и воздух на дворе как вино... Прежде, бывало, в такие ядреные дни все куда-то тянуло... на месте не усидишь... Бывало, нюхаешь, нюхаешь воздух, да ни с того ни с сего и закаташь из Ярославля в Одессу.

– Из Вологды в Керчь, – подсказал Стаканыч, вспомнив, по суфлерской привычке, слова из старой пьесы.

– Чушь! – с усилием поморщился Дедушка. –

Абер... я думал, что прошло уж это у меня. Но как сегодня с утра поглядел туда, – Дедушка медленно перевел глаза на окно, – так и стал собираться. Выражаясь высоким штилем, вижу, что мое земное турне окончено. Но... все равно.

– Что за мысли, Дедушка! – рассудительным баском перебил Стаканыч и развел руки с растопыренными пальцами. – Просто напустил ты на себя мехлюздю. Еще на наши могилки песком посыплешь.

– Не-ет, брат... Вижу, что довольно. Поиграл пятакком, да и за щеку, как говорили у нас в Орле уличные мальчишки. Абер ты постой, Стаканыч, не егози, – остановил он суфлера. – Мне, брат, это все равно...

– И не боишься, Дедушка? – спросил вдруг неожиданно для самого себя с жадным любопытством Стаканыч.

– Ни чуточки. Наплевать!.. Гнусно мы с тобой, братец, нашу жизнь прошлепали! Это вот плохо... А бояться – чего же? «Таков наш жребий, всех живущих, – умирать». Ты не думай, Стаканыч, и тебе недолго ждать своей очереди.

Дедушка говорил эти страшные слова со своими обычными передышками, таким слабым и безучастным голосом, с таким равнодушным выражением усталых, запавших глаз, что казалось, будто внутри его говорила старая, испорченная машина.

– Так-то вот, Стаканыч. Рождение человека – случайность, а смерть – закон. Но ты был все-таки добрый малый и самый замечательный из суфлеров, каких я только встречал в своей большой и дурацкой жизни. Знакомы мы с тобой без малого лет сто, и никогда ты не был против меня жуликом. Поэтому я хочу тебе сделать презент. Возьми, брат, себе на память портсигар... вот он на столике... бери, бери, не стесняйся... Портсигар хороший, черепаховый... теперь таких больше не делают. Антик. Была на нем даже золотая монограмма, абер украли где-то, а то, может быть, я и сам ее потерял или того... как его... продал. Возьми, Стаканыч.

– Спасибо, Дедушка... Только напрасно ты все это...

– Ну, ну, ну, чего там!.. В нем еще лежит мундштук пенковый. И мундштук возьми. Хороший мундштук, обкуренный...

Стаканыч вынул мундштук, повертел его и вздохнул.

– Спасибо, Дедушка. Штучка великолепная. А у меня вот был тесть брандмейстер, знаешь, старого закала человек, из кантонистов. Так он давал пенки обкуривать своим пожарным. Совсем черные делались.

– Очень просто, – равнодушно согласился Дедушка. – Так бери, Стаканыч, и мундштук. Все-таки ко-

гда-никогда вспомнишь товарища. А вот только о чем я тебя попрошу. Тут останется после меня разная хурда-мур-да... одеялишко, подушки и из платья кое-что... Конечно, рухлядь, абер на худой конец все рублей пятнадцать дадут.

– Да? – выжидательно произнес суфлер.

– Жду я, видишь, не приедет ли внучка. Писала она мне письмо. Так отдашь ей. Путь не близкий, больших денег стоит.

Оба помолчали. Дедушка поиграл пальцами по одеялу и протянул суфлеру руку:

– Ну, а теперь того... прощай, Стаканыч. Полежу, подумая...

– Священника бы? – нерешительно предложил Стаканыч.

– Абер... оставь. Был у нас в Крыжополе парикмахер Теофиль... из хохлов. Так он все говорил: обойдется цыганское веселье без марципанов. Чудак был человек. Смешно мне всегда это бывало, Стаканыч, что как ни парикмахер, так самый строгий театральный критик... Эх, Стаканыч, помнишь Тамбов? Конские ярмарки? Смольскую? Гусаров? Много, брат, мы с тобой пережили, абер все впустую, и все это мне теперь кажется, точно старая-престарая повесть... Ну, иди, иди, брат...

Стаканыч пожал его холодную, негнущуюся боль-

шую руку и, вернувшись на свою кровать, сел за прерванный пасьянс. И до самого обеда оба старика не произнесли больше ни слова, и в комнате стояла такая, по-осеннему ясная, задумчивая и грустная тишина, что обманутые ею мыши, которых пропасть водилось в старом доме, много раз пугливо и нагло выбежали из своего подполья на середину комнаты и, блестя черными глазенками, суетливо подбирали рассыпанные вокруг стола хлебные крошки.



Перед обедом пришли столкнувшиеся на подъезде Михаленко и Лидин-Байдаров. У опереточного премьера торчал под мышкой красный платочек, в который были завязаны какие-то припасы. Михаленко же вернулся в убежище злой и усталый. Ему не заплатили обещанной за спектакль платы, а так как свои деньги он оставил в театральном буфете, то ему и пришлось возвращаться через весь город пешком. Войдя в залу, он с силою швырнул свою шляпу-котелок о пол, цинично и длинно выругался и повалился на кровать. Он задыхался; его жирное лицо было бледно, единственный глаз выкатился наружу с выражением ненависти, а отвисшие щеки блестели от пота. Беспредметная злоба, сдавливавшая ему горло и разливавшаяся горечью во рту, искала какого-нибудь выхода. Он увидел на шкапчике у Лидина-Байдарова свою медную машинку для папирос и тотчас же придрался к этому.

– Послушай, ты, старый павиан, надо раньше спрашиваться, когда берешь чужую собственность. Поддай сюда машинку, – сказал Михаленко.

– Какую там еще машинку? – надменно и в нос спросил Лидин-Байдаров. – Вот тебе твоя машинка,

подавись!

– Прошу не швыряться чужими вещами, которые вы украли! – закричал Михаленко страшным голосом и быстро сел на кровати. Глаз его еще больше вылез из орбиты, а дряблые щеки запрыгали. – Вы мерзавец! Я знаю вас, вам не в первый раз присваивать чужое. Вы в Перми свели из гостиницы чужую собаку и сидели за это в тюрьме. Арестант вы!

От злости, болезни и усталости у него не хватало в груди воздуха, и концы фраз он выдавливал из груди хрипящим и кашляющим шепотом.

Байдаров обиделся. Обычная спесивая манера покинула его, и он визгливо закричал, брызгая от торопливости слюнями:

– А я вас попрошу, господин Михаленко, немедленно возвратить мне взятые у меня манжеты и галстук. И десять штук папирос, которые вы мне должны. Х-ха! Нечего сказать, хорош драматический актер: никогда своего табаку не имеет. Потерянная личность!..

– Молчите, старый дурак. Я вам размозжу голову первым попавшимся предметом! – захрипел Михаленко, хватаясь за спинку стула и тряся им. – Я могу быть страшен, черт возьми!..

– Ак-тер! – язвил тоном театрального презрения Лидин-Байдаров. – Вы на ярмарках карликов представляли.

– А вы – вор! Вы в Иркутске свистнули из уборной у Вилламова серебряный венок и потом поднеели его сами себе в бенефис. Низкий, слюнявый субъект!

Они ругались долго и ожесточенно, ругались до тех пор, пока самые безобразные слова не потеряли своего смысла и перестали быть обидными. И самое нелепое в этой руготне было то, что они с обычного актерского «ты» перешли для большей язвительности на «вы», и это вежливое местоимение смешно и дико звучало рядом с бранными выражениями кабаков и базаров. Потом, уставши, они стали браниться ленивее, с большими перерывами, подобно тому как ворчат, постепенно затихая, но все-таки огрызаясь время от времени, окончившие драку собаки. Но из Михаленки не успело еще выкипеть бессильное, старческое раздражение. Когда принесли обед, он сначала привязался к Стаканычу за то, что тот взял стул, который Михаленко считал почему-то принадлежащим ему, а затем напал на Тихона, расставлявшего посуду.

– Ты, гарнизонная крыса, не мажь пальцами по тарелке. Ты думаешь, приятно есть после твоих поганых рук!

– Да разве я... Ах, господи! – обиделся Тихон. – Откуда же у меня руки будут поганые, когда я мыл их перед обедом с мылом?

– Знаю я тебя, кислая шерсть, – продолжал ворчать

Михаленко. – Тоже подумалось – севастополец. Герой с дырой... Севастополь-то вы свой за картошку продали... герои...

Тихон всегда довольно терпеливо сносил крупную соль актерских острот, но он никогда не прощал Михаленке Севастополя и легендарной картошки. И теперь, побагровев от негодования, с дрожащими руками, он закричал плачущим и угрожающим голосом:

– А вы вот что, господин Михаленко! Если вы про Севастополь еще одно слово, я завтра же пойду к зрителю. Так и скажу, что житья мне от вас нет. Только пьянствуете и ругаетесь. Небось как из богадельни вас попросят, куда вы сунетесь? Одно останется: руку горсточкой протягивать.

Перед обедом Стаканыч готовил себе салат из свеклы, огурцов и прованского масла. Все эти припасы привес ему Тихон, друживший со старым суфлером. Лидин-Байдаров жадно следил за стряпней Стакапыча к разговаривал о том, какой он замечательный салат изобрел в Екатеринбурге.

– Стоял я тогда в «Европейской», – говорил он, не отрывая глаз от рук суфлера. – Повар, понимаешь, француз, шесть тысяч жалованья в год. Там ведь на Урале, когда наедут золотопромышленники, такие кутежи идут... миллионами пахнет!..

– Все вы врете, актер Байдаров, – вставил, проже-

вывая говядину, Михаленко.

– Убирайтесь к черту! Можете спросить кого угодно в Екатеринбурге, вам всякий подтвердит... Вот я этого француза и научил. Потом весь город нарочно ездил в гостиницу пробовать. Так и в меню стояло: салат а-ля Лидин-Байдаров. Понимаешь: положить груздочков солененьких, нарезать тоненько крымское яблоко и один помидорчик и крошить туда головку лука, картофеля вареного, свеклы и огурчиков. Потом все это, понимаешь, смешать, посолить, поперчить и полить уксусом с прованским маслом, а сверху чуть-чуть посыпать мелким сахаром. И к этому еще подается в соуснике растопленное малороссийское сало, знаешь, чтобы в нем шкварки плавали и шипели... Уд-ди-вительная вещь! – прошептал Байдаров, даже зажмурясь от удовольствия. – А ну-ка, Стаканыч, дай-ка попробовать, что ты там накулинаруил?..

Дедушка отказался от обеда. Садясь за стол, Михаленко и его задел ядовитым словом:

– Что, Дедушка, помирать собрался? Пора бы уж, старик, пора; землей пахнешь. Тебе, чай, на том свете давно провиант отпускают.

Дедушка спокойно, без всякого выражения скользнул взглядом по Михаленке, точно поглядел мимоходом на неодушевленный предмет.

– Противный ты человек, Михаленко, – сказал он

равнодушно.

Когда актеры кончили обед и Тихон принялся убирать со стола, Дедушка поманил его к себе рукой и спросил:

– А что, Тихон, обо мне никто там не справлялся?

– Где-с, Николай Николаевич? – изумился Тихон.

– Говорю, не приходили ли ко мне?.. Дама одна...

– Никак нет, никто не приходил.

Тихон от удивления даже развел руками, нагруженными посудой.

– Абер... ты вот что, Тихон... Если я засну или что, а там придут ко мне, так ты меня того... разбуди. Барыня одна придет... внучка моя... Так ты разбуди...

Дедушка слабо махнул рукой и отвернулся от Тихона. И до глубокой ночи он лежал молча, еле заметно двигая пальцами по одеялу и пристально, со строгой важностью глядя то в противоположную стену, то в широкое венецианское окно, за которым тихо и ярко горела вечерняя заря.

А Михаленко с Лидиным-Байдаровым после обеда, как ни в чем не бывало, сели играть в шестьдесят шесть. Но Михаленке не везло и в картах. Он проиграл два с полтиной, что вместе со старым долгом составило круглую сумму в две тысячи рублей. Это рассердило Михаленку. Он стал проверять записи партнера и кончил тем, что уличил его в нечестной игре.

Актеры опять сцепились и в продолжение двух часов выдумывали друг о друге самые грязные и неправдоподобные истории.

IV

Славянов-Райский с утра не покидал «Капернаума». Стоя у прилавка, он держал рюмку двумя пальцами, оттопырив мизинец, и жирным актерским баритоном благосклонно и веско беседовал с хозяином о том, как идут дела ресторана, и о старых актерах, посещавших в былые времена из года в год «Капернаум». Ресторанный воздух точно воскресил в нем ту наигранную, преувеличенную и манерную любезность, которой отличаются актеры вне кулис, на глазах публики. Случалось, что кто-нибудь тянулся через него к стойке. Тогда он учтиво и предупредительно отодвигался вбок, делал свободной от рюмки рукой плавный, приглашающий жест и произносил великолепным тоном театрального старого барина:

– Тысячу извинений... Пра-ашу вас.

Устав стоять, он сел за ближайший к прилавку столик, облюбованный, по старой привычке, завсегдатаями «Капернаума», и спросил газету. Ресторан быстро наполнялся. Сюда обыкновенно ходили, привлекаемые дешевизной и уютностью, студенты, мелкие чиновники и приказчики. Скоро не осталось ни одного свободного места. Два запоздавшие посетителя – один, постарше, хохластый, с крючковатым но-

сом, похожий на степенного попугая, а другой маленький, подвижный, с длинными масляными волосами и в пенсне – не находили где присесть и, смеясь, озирались по сторонам. Райский перехватил взгляд длинноволосого. Слегка приподнявшись, он произнес с напыщенной вежливостью:

– Если вас только не стеснит... э-э... я позволю себе предложить вам место за своим столом...

Посетители рассыпались в благодарностях и пошли к буфету пить водку. Оба они считались в ресторане почетными гостями, «дававшими хорошо торговать». Они поздоровались с хозяином за руку и заговорили с ним вполголоса. Славянов-Райский понял, что речь шла о нем. Притворяясь углубленным в «Новое время», он ловил привычным ухом отрывки фраз, которые шепотом говорил хозяин, наклоняясь через стойку:

– Ну да, тот самый... Помилуйте, пятьсот за выход. Это в те-то времена! Талантище зам-мечатедьный... Только двое: он да Иванов-Козельский... Что?.. Ну, конечно, если бы не пил...

Гости, дававшие торговать, были польщены. Прежде чем сесть, тот, что был похож на попугая, сморщил лицо в заискивающую улыбку и, кланяясь и потирая руки, сказал:

– В таком случае... хе-хе-хе... нельзя ли уж нам

всем познакомиться... Знаете ли, в тесноте, да не в обиде... Позвольте представиться...

Он оказался оценщиком земельного банка, а его товарищ – воскресным фельетонистом местного листка. Фельетонист встряхивал маслеными волосами и бормотал::.

– Мы оба с вами представители искусства... Ваше громкое имя... Печать и сцена, как два полюса, всегда должны идти рука об руку.

Славянов-Райский, падкий на ресторанные знакомства, пожимал им руки, приветливо кивал головой и улыбался широкой, деланной актерской улыбкой, обнаруживавшей беззубый рот.

– Очень приятно встретиться... В теперешнее время забывают нас, старых артистов, и тем более отрадно... Нет, нет, благодарствуйте, от завтрака я откажусь... Но если вы уже так настаиваете, то разве одну только м-маленькую рюмочку водки... за компанию. Только уговор: расчет по-американски, каждый за себя... Мерсі. Ваше здоровье!.. Пожалуйста, не беспокойтесь, мне отлично сидеть. Благодарю вас, коллега, благодарю, – говорил он покровительственным баском, пожимая с фамильярной лаской руку фельетониста выше локтя.

Славянов и вправду не хотел есть, потому что, как застарелый алкоголик, давно страдал отсутстви-

ем аппетита. Водку же и пиво он пил благосклонно, но опьянел от четырех рюмок и стал врать. Поклонники ели порционный завтрак, а он критиковал кушанья и объяснял подробно, как выкармливают в Тамбове поросят, как отпаивают телят в Суздале и какую уху он ел у рыбаков на Волге. Потом он рассказывал о баснословных кутежах, которые в его честь задавал в каком-то губернском городе директор банка, угодивший впоследствии под суд, и о торжественном обеде, устроенном ему в Москве печатью. При этом он без затруднения сыпал фамилиями, выхватывая их из старых пьес или просто сочиняя, и всех называл уменьшительными именами: «Сашка Путята... сверхъестественный мужчина... двадцать четыре тысячи в год, не считая суточных!.. И с ним вместе Измаилка Александровский... Измаилушка! Вот это были люди! Измаил на вытянутой руке подымал восемнадцать пудов... Пойми ты, огарок, восемнадцать пудов!» Он уже обращался к своим новым знакомым на «ты» и, забыв американский расчет, бесцеремонно распоряжался за столом.

Затем он начал читать монологи пьяным, хриплым голосом, с воплями, завываниями и неожиданной икотой в драматических местах. Иногда он забывал слова и, с трудом вспоминая их, делал вид, что длинной паузой усиливает смысл фразы; тогда он молча и бес-

сильно раскачивался на стуле с рукой, застывшей в трагическом жесте, и со страшными, вращающимися глазами. Но так как оба его соседа начинали чувствовать себя неловко, а многие посетители, оставив свои места, собирались вокруг почетного столика, то сам хозяин подошел к пьяному актеру и стал его уговаривать:

– Меркурий Иваныч, не разоряйтесь, пожалуйста. Знаете ли, безобразно... и другие гости обижаются. Ну разве нельзя честь честью? Тихо, мирно, благородно...

– Уйди от меня, буржуй! – закричал Славянов, отмахиваясь от хозяина локтем и меряя его грозным взглядом. – С кем говоришь!..

И он принялся скандалить, как скандалил после выпивки всю свою жизнь, во всех городах и во всех ресторанах. Сначала он обозвал скверными словами хозяина, потом своих собеседников, пытавшихся его образумить, и наконец обрушился на всю глазевшую на него публику.

– Все вы свиньи, ненавидимые мной! – кричал он, качаясь взад и вперед на стуле и стуча кулаками по столу. – Ненавижу вас и презираю!.. Публика! Есть ли на свете слово изменнее этого? А-а! Бы сбегались посмотреть на скандал? Ну, так вот вам, глядите! – Славянов с размаху хлопнул себя ладонью по груди. –

Вот перед вами первый в России трагический актер, который влачит нищенское существование. Любопытно? И все-таки я презираю вас, хамы, всеми фибрами своей души! Вы, кажется, смеетесь, молодой идиот в розовом галстуке? – обратился он вдруг к кому-то за соседним столиком. – Кто вы такой? Вы приказчик? Камердинер? Бильярдный шулер? Парикмахер? Ага! Улыбка уже исчезла с вашего лошадиного лица. Вы – букашка, вы в жизни жалкий статист, и ваши полосатые панталоны переживут ваше ничтожное имя. Да, да, смотрите на меня, жвачные животные! Я был гордостью русской сцены, я оставил след в истории русского театра, и если я пал, то в этом трагедия, болваны! А вы, – Славянов обвел широким пьяным жестом всех глазевших на него встревоженных людей, – вы мелочь, сор, инфузории!..

– Позвольте!.. Это скандал!.. Мы этого не потерпим! – раздались негодующие восклицания. – Где хозяин? Выкинуть этого субъекта! Послать за полицией!..

Трактирный слуга бережно взял Славянова под мышки и повлек к выходу. Славянов не сопротивлялся, но и не переставал браниться. Когда же его просовывали в двери, он разбил кулаком оконное стекло и окровавил себе руку. Оценщик банка и фельетонист решили вдруг, что с их стороны будет постыдно бро-

сильно на произвол судьбы пьяного, больного старика. С большим трудом узнали они у первого трагического актера его адрес и при помощи дворника усадили его на пролетку. Но, отъехав два шага, Славянов вдруг остановил извозчика.

– Послушайте, как вас! – пьяным движением руки подозвал он к себе оценщика. – Это я с вами, кажется, сидел? Дайте рубль.

– Ах, пожалуйста, – любезно заторопился бухгалтер, вынимая из кармана портмоне.

– Давайте сюда... Отлично. Запишите этот день красными чернилами в своем гроссбухе. Сегодня вы подали милостыню артисту Славянову-Райскому. Черт вас побери!..

И всю дорогу, до самого убежища, он бранился скверными словами, раскачиваясь в разные стороны на пролетке.

V

В убежище он явился совершенно пьяный. Глаза у него остекленели, нижняя челюсть отвисла, из-под сидевшей на затылке шляпы спускались на лоб мокрыми сосульками волосы. Войдя в общую комнату, он скрестил руки, свесил низко на грудь голову и, глядя вперед из-под грозно нахмуренных бровей, так что вместо глаз виднелись одни только белки, начал неистовым голосом гамлетовский монолог:

...Для чего

Ты не растаешь, ты не распадешься прахом,

О, для чего ты крепко, тело человека!

– Н-да-а, хоро-ош! – сказал Стаканыч, качая головой.

– Тихон, – взвизгнул фистулой Михаленко, – уберите немедленно этого пьяного господина!

Но Славянов продолжал декламировать, не обращая на него внимания. И, несмотря на сильное опьянение, несмотря на хрипоту и бляение в голосе, он все-таки, по бессознательной привычке, читал очень хорошо, в старинной благородной и утрированной манере:

И если бы всесильный нам не запретил Самоубийства... Боже мой, великий боже! Как гнусны, бесполезны, как ничтожны Деянья человека на земле!

– Эй, суфлер, что же ты не подаешь? Заснул! – крикнул Славянов на Стаканыча, который смотрел на него, сидя на кровати и кривя рот в довольную усмешку.

– Меркурь Иваныч, вы же знаете, что я по Полевому не могу. Я по Кронебергу.

– Подавай, как тебе велят...

Жизнь! Что ты? Сад, заглохший Под дикими бесплодными травами!.. Едва лишь шесть недель прошло...

– Прошу вас, пьяный актер Райский, прекратить вашу дурацкую декламацию! – опять закричал Михаленко. – Вы не в кабаке, где вы привыкли кривляться за рюмку водки и бутерброд с килькой.

– Молчи, червяк! – бросил ему с трагическим жестом Славянов. – С кем говоришь?.. Подумай, с кем ты говоришь... Ты, считавший за честь подать калоши артисту Славянову-Райскому, когда он уходил с репетиции, ты, актер, игравший толпу и голоса за сценой! Раб! Неодушевленная вещь!..

– У! Дурак пьяный! – выдавил из себя вместе с припадком кашля Михаленко.

– А-а! Ты забыл разницу между нами? Негодный!

Это целая бездна. Во мне каждый вершок – великий артист, вы же все – гниль и паразиты сцены.

– Однако вы потише, господин Райский, – гордым тоном вмешался Лидин-Байдаров. – Если вы будете продолжать ваши пьяные оскорбления людей, которые вас не трогают, то вы можете сильно за это заплатить, черт возьми!..

– Ты... ты... ты!.. – захлебнулся Славянов от негодования. – Как у тебя повернулся язык? Этот вот, – он величественно указал на Михаленку, – этот хоть ходил по сцене, подавая стаканы, но он все-таки актер...

– Эфиоп вы! – более спокойным тоном огрызнулся Михаленко.

– А ты, кан-наля, ты вылез на сцену, не имея на это никаких прав, кроме толстых ляжек в розовом трико. Ты пел козлом и делал гнусные телодвижения.

«О, сновиденье, о, наслажденье!» – передразнил Славянов, сделав непристойный жест. – Ты попал в храм искусства по недоразумению, случайно, как мог бы попасть в распорядители кафешантана или открыть публичный дом. Ты – медная голова, ты – бесстыдник! Вот именно, бес-стыдник! У тебя, как у мелкого, гаденького и похотливого зверюшки, никогда не было стыда за свой жест, за свою мимику, не было стыда, лица и тела. Тебе, с твоей развязностью продажного мужчины, ничего не стоило бы голым выско-

читать перед публику, если бы только на это дал позволение околоточный надзиратель, которого одного ты боялся и уважал во всю свою презренную жизнь.

– Я не понимаю, что меня удерживает от удовольствия вышвырнуть вас в окно! – воскликнул напыщенно Лидин-Байдаров.

– У-у, кретин! Ведь в каждом звуке твоего голоса слышна глупость, в каждом твоём движении видно разжижение мозга. Но у тебя никогда нельзя было разобрать, где у тебя кончается глупость и где начинается подлость. Даже от твоего театрального имени веет пошлостью и нахальством. «Лидин-Байдаров»! Скажите пожалуйста!.. А ты просто шкловский мещанин Мовша Розентул, сын старьевщика и сам в душе ростовщик.

– Пропойца, скандалист, дутая знаменитость!

– Пропойца! – презрительным басом и выпятив нижнюю губу, протянул Славянов. – Соглашаюсь, был Славянов-Райский пропойцей. Пил чрезмерно и много безобразничал, бил портных и реквизиторов, бил антрепренеров и рецензят, иудино племя. Но спроси, кто помнит зло на Славянове-Райском? Через мои руки прошли сотни тысяч денег, но спроси, где они? От меня ни один бедняк, ни один маленький актеришка не вышел без помощи. Шарманщики, уличные акробаты, слепые музыканты были моими друзьями. А

сколько пивков питалось около меня!.. И так я жил!.. Широко жил, с размахом. Вон Стакаиыч знает меня пятнадцать лет, он скажет. Правду я говорю, Стакаиыч?

– Вы мне, что ли, Меркурь Иваныч? – спросил суфлер, отрываясь от своих коробочек и делая руку над глазами щитком.

– Всегда первый номер в самой дорогой гостинице. Прислуге швырял золото, как индийский принц. Лучший экипаж, лошади – львы, кучер – страшилище, идолом сидит на козлах. Свой собственный лакей был – Мишка. Кто не знал моего Мишку? Антрепренеры в нем заискивали, чтобы узнать, в каком духе я проснулся сегодня... за руку с ним здоровались. А как я одевался! Всегда фрак и английское белье. Каждый день Мишка покупал для меня новую сорочку: стирального не носил, гнушался. Портные за честь считали шить для меня в долг. Городские франты нарочно ходили в театр поучиться у меня, как надо носить платье.

– Вот, брат, и проносился, – ехидно вставил Лидин-Байдаров.

– О тварь, ненавидимая мною! – завопил Славянов. – Да, я проносился, пропился и пал до того, что живу в одной грязной клетке с такой мерзкой обезьяной, как ты. Но я прожил огромную жизнь, я испытал

сладость вдохновения, и за мною шла сказочная, царственная слава. Я заставлял людей плакать и радоваться. О, что я делал с толпой! Когда в «Макбете» в сцене с кинжалом я показывал рукой в пространство, то полторы тысячи зрителей вставали с своих мест, как один человек. А каким я был Коррадо! В Харькове полиция не дала мне доиграть последнего акта, потому что тогда разрыдались все – и мужчины и женщины, и даже на глазах у актеров, игравших со мною, я видел слезы. Пойми же, орангутанг, слезы!.. Ты, балаганный Петрушка, бесчестил швеек, обещая сделать из них опереточных примадонн, в тебя стреляли, как в бешеную собаку, когда ты убегал из опозоренных тобой спален, ты дрожал над каждой копеечкой и отдавал тайком деньги в незаконный рост, и только потому не сделался под старость содержателем ссудной кассы, что тебя, когда ты стал скорбен главою, обобрала первая попавшаяся судомойка. Ты в каждом городе оставлял грязные хвосты, и есть тысячи людей, которым ты, при всей своей наглости, не посмеешь поглядеть в глаза. А я по всей России, от Архангельска до Ялты и от Варшавы до Томска, прошел с гордо поднятой головой, не чувствуя ни стыда, ни страха. Со мною губернаторы считались! Когда на Волге описали за долги мой театр и ко всем дверям приложили печати, что я сделал? Я не тронул печатей, но снял

с петель все двери и все-таки дал спектакль. Кто бы мог это сделать, кроме Славянова-Райского?.. Стой, Тихон! – остановил он солдата, который в это время бережно нес к образу зажженную лампадку. – Дай закурить...

Славянов потянулся к огню, но Тихон сурово посмотрел на актера и отвел руку с лампадкой в сторону.

– Стыдитесь, господин Райский, – сказал он внушительно. – Пора бы уж и о смертном часе подумать, а вы святотатствуете. Где же это видано, чтобы от лампадки закуривали? Да еще в такой праздник?

– Ну, ну, гарнизапуза, пошел разговаривать! – крикнул со своей кровати Михаленко. – Вот, постой, я перебью все твои лампадки. Только вонь разводишь. Идолопоклонник!..

– Эх, уж вы-ы! – безнадежно махнул рукой Тихон. – Одно слово, безбожники вы, господин Михаленко. Вот господин Райский... они хоть и выпивши, а я на них никак не надеюсь, чтобы они такое слово сказали.

Обличительная речь Тихона дала вдруг новое направление пьяным мыслям Славянова. Он умилился и со слезами полез целовать солдата.

– Тихон, душа моя!.. Добрый, старый, верный Тихон! Понимаешь ты Славянова-Райского? Жалеешь? Дай я поцелую твою честную седую голову.

– Господи, да как же нам не понимать! – расчув-

ствовался, в свою очередь, Тихон. Он утерся рукавом и с готовностью подставил губы Славянову. Потом, с кряхтением установив лампадку и слезая с табурета, он сказал, добродушно и укоризненно покачивая головой: – А нет того чтобы отставному севастопольтцу пожертвовать на построение полдиковинки. Сами кушаете водочку, а свою верную слугу забываете.

– Тихон! Радость моя! Голуба! Все я растранижил, старый крокодил... Впрочем, постой... Там у меня, кажется, еще что-то осталось. – Он пошарил в кармане и вытащил оттуда вместе с грязной ватой, обломками спичек, крошками табаку и другим сором несколько медных монет. – На, получай, старый воин. И знай, Тихон, – вдруг с пафосом воскликнул Славянов, ударив себя в грудь кулаком, – знай, что тебя одного дарит своей дружбой жалкая развалина того, что раньше называлось великим артистом Славяновым-Райским!

И он расплакался обильными, пьяными, истерическими слезами. Оплакивал он свою погибшую шумную жизнь, и свою сиротливую старость, и то, что его никто не понимает, и то, что его давеча так оскорбительно вывели из ресторана. Его сожители давно уже лежали под одеялами, а он все говорил и говорил, изредка обращаясь к своему соседу Стаканычу, который отвечал сонным, невнятным мычанием. И в этом

неясном бреде безобразно сплетались экипажи, фраки, губернаторы, серебряные сервизы, отрывки ролей и грязная ругань. И когда он, наконец, заснул, то все еще продолжал бормотать в тяжелом, полном призраков, пьяном сне.

VI

К часу ночи на дворе поднялся упорный осенний ветер с мелким дождем. Липа под окном раскачивалась широко и шумно, а горевший на улице фонарь бросал сквозь ее ветви слабый, причудливый свет, который узорчатыми пятнами ходил взад и вперед по потолку. Лампадка перед образом теплилась розовым, кротко мерцающим сиянием, и каждый раз, когда длинный язычок огня с легким треском вспыхивал сильнее, то из угла вырисовывалось в золоченой ризе темное лицо спасителя и его благословляющая рука.

Все актеры, кроме Славянова, бредившего во сне, проснулись среди ночи и лежали молча, со страхом и тоскою в душе. Лидин-Байдаров, у которого от прежних привычек осталась только жадная любовь к сладкому, ел принесенную им днем ватрушку с вареньем и старался делать это как можно тише, чтобы не услышали соседи. Михаленко, покрывшись с головой одеялом, пугливо прислушивался к глухому и тревожному биению своего сердца. Каждый раз, когда ветер, напирая на стекла и потрясая ими, бросал в них с яростной силой брызги дождя, Михаленко глубже прятался головой в подушку и наивно, как это делают в темноте боязливые дети, закрепщивал мелкими быстрыми

крестами все щелочки между своим телом и одеялом. Стаканыч слез с кровати и стоял на коленях. В темноте слышались его глубокие вздохи, однообразный, непрерывный и торопливый шепот и глухой стук его лба о пол. Напротив его, все так же прямо и неподвижно вытянувшись, лежал Дедушка. Глаза его медленно переходили с черного окна на нежно-розовый мерцающий свет лампадки и на тени, качавшиеся по потолку. Лицо у него было важное, спокойное и задумчивое.

Позднее других проснулся Славянов-Райский. Он был в тяжелом, грузном похмелье, с оцепеневшими руками и ногами, с отвратительным вкусом во рту. Сознание возвращалось к нему очень медленно, и каждое движение причиняло боль в голове и тошноту. Ему с трудом удалось вспомнить, где он был днем, как напился пьяным и как попал из ресторана в убежище.

Он вспомнил также, что у него в кармане пальто лежит полбутылки водки, которую он всегда, даже в самом пьяном состоянии, запасал себе на утро. Это у него была своеобразная, приобретенная долгим пьяным опытом и обратившаяся в инстинкт привычка старого алкоголика. Он встал и прошел босиком к шкапу, где висело верхнее платье. Через минуту оттуда послышалось, как задребезжало в его дрожащих руках, стуча о зубы, горлышко бутылки, как забулькала в ней жидкость и как сам Славянов закричал и зафыркал

губами от отвращения.

– Райский, душечка, одолжи и мне, – молящим шепотом попросил Михаленко, – такая тоска... такая тоска...

Славянов поднял бутылку и нерешительно посмотрел сквозь нее на свет лампадки. Ему было жаль водки, но он никогда не умел отказать, если его о чем-нибудь просили.

– Эх, ну уж ладно, давай стакан, – сказал он, сморщившись.

В темноте опять заплескала жидкость и зазвенело стекло о стакан.

– Ну, вот спасибо, братик, спасибо, – говорил Михаленко. – Ффа-а-а, ожгло!.. Славный ты товарищ, Меркурий Иваныч...

– Ну ладно уж... чего уж там... Давеча я наговорил тебе неприятностей, так ты уж того... не очень сердись.

– Вот глупости. Чай, мы с тобой не чужие. Свой брат, Исакий. Ты мне, я тебе, без этого не обойдешься.

– Верно, верно, милый... именно не обойдешься, – со вздохом зашептал Славянов, усаживаясь на кровати Михаленки. – Трудно без этого. Живем мы кучей, тесно и все друг о друга тремся. Видал ты, в некоторых домах ставят такие стеклянные мухоловки с пивом? Наберется туда мух видимо-невидимо, и все они

в собственном соку киснут да киснут, пока не подохнут. Так и мы, брат Саша, в своей мухоловке закисло и обозлились... А кроме того, и я особо сердит на этого идиота, Байдарова. Ну, скажи на милость, какой он нам товарищ? Какой он артист? Все равно что из грязи пуля. Другое дело, взять хоть бы нас с тобой, Сашуха... все-таки мы как-никак, а послужили театру.

– Что уж вы, Меркурий Иваныч, равняете меня с собой. Вы, можно сказать, – кит сцены, а я так... пескариска маленький...

– Оставь, Саша. Оставь это, братец мой. У тебя тоже талантище был: теплота, юмор, свежести сколько. У теперешних механиков этого нет. Другой шерсти люди. Нутра им вовсе не дадено от природы. А ты нутром играл.

– Где уж нам, Меркурий Иваныч! Наше дело маленькое. За вас вот обидно.

– Нет, нет, ты не гречи, Саша, ты этого не говори. Я ведь тебя хорошо помню в «Женитьбе Белугина». Весь театр ты тогда морил со смеху. Я стою за кулисами и злюсь: сейчас мой выход, сильное место, а ты публику в лоск уложил хохотом. «Эка, думаю, переигрывает, прохвост! Весь мой выход обгадил». А сам, понимаешь, не могу от смеха удержаться, трясусь, прыскаю – и шабаш. Вот ты как играл, Сашец! У нынешних этого не сыщешь. Шалишь!.. Но не везло

тебе, Михаленко, судьбы не было.

– Что ж, Меркурий Иваныч, – согласился польщенный Михаленко, – это верно, что и меня публика хорошо принимала. Только голосу у меня нет настоящего, вот что скверно. Астма эта проклятая.

– Вот, вот, вот... я это самое и говорю. Астма или там, скажем, судьба – это все равно. Мне вот повезло, и я покатыл с гору, а ты хоть и талантлив, и знаешь сцену, как никто, а тебе не поперло. Но это и не суть важно. Главное, что упали-то мы с тобой все равно в одно место, в одну и ту же отравленную мухоловку, и тут нам пришел и сундук и крышка.

– Не пили бы, так и не падали бы, Меркурий Иваныч, – с горькой насмешкой вставил Михаленко.

– Молчи, молчи, Саша, – испуганно и умоляюще зашептал Славянов, – не смейся над этим... Разве легко падать-то? Погляди на меня. Я ли не был вознесен, а теперь что? Живу на иждивении купчишки, хожу по трактирам, норовлю выпить на чужой счет, кривляюсь... Бывает ведь и мне стыдно, Саша... ох, как стыдно!.. Ведь мне, Саша, голубушка ты моя, шестьдесят пять лет в декабре стукнет. Шестьдесят пять... Цифра!.. В детстве, я помню, начну, бывало, считать свои года и все радуюсь, какой я большой, сколько времени на один счет уходит. А ну-ка, посчитай теперь-то! – неудержимо зарыдал вдруг Славя-

нов. – Дедушка ведь я, маститый старец, патриарх, а где мои внуки, где мои дети? Черт!

Темнота ночи все сильнее взвинчивала нервы Славянова, разбитые тяжелым похмельем. Он бил себя в грудь кулаками, плакал, сморкался в рубашку и, качаясь, точно от зубной боли, взад и вперед на кровати Михаленки, говорил всхлипывающим, тоскливым шепотом:

– Мира я хочу, тишины, простого мещанского счастья!.. Иду я иной раз вечером по улице и – привычка у меня такая – все в чужие окна гляжу. И вот, бывало, видишь: комнатка этакая мирная, лампа, круглый стол, самоварчик... тепло, должно быть, там... пахнет жильем, домовитостью, геранью. А кругом народ, молодой, бодрый, веселый, любящий... И старикашка тут же где-нибудь пристроился – седенький, опрятненький, благодушный. Сидит себе с черешневым чубуком, и все к нему так ласково, с почтением... А я, старый шут, стою на улице и мерзну, и плачу, и все смотрю... Слыхал я и по пьесам знаю, что бывают милые, верные на всю жизнь женщины, сиделки в болезни, добрые друзья в старости. Где они, эти женщины, Михаленко? Любили, брат, и меня, – но какая это была любовь? После бенефиса поехали за город, тройки, галдеж, пьяное вранье, закулисные прибаутки, и тут же затрепанные, загаженные слова: «Люблю тебя

свободною любовью! Возьми меня, я вся твоя!» Отдельный кабинет, грязь, пьяная, угарная любовь, скитание вместе по трупам, и вечно – старый, гнусный водевиль «Ревнивый муж и храбрый любовник». И вот жизнь прошла, и нет у меня во всем мире ни души. Ни души! Тоска, мерзость... Знаешь, Саша, – Славянов наклонился к самому уху Михаленки, и в его шепоте послышался ужас, – знаешь, вижу я теперь часто во сне, будто меня кто-то все догоняет. Бегу я будто по комнате, и много, много этих комнат впереди, и все они заперты... И знаю я, что надо мне успеть открыть двери, вытащить ключ и запереться с другой стороны. И тороплюсь я, тороплюсь, и страшно мне до тошноты, до боли... Но ключи заржавели, не слушаются, и руки у меня, как деревянные. А «он» все ближе, все ближе... Едва успею я запереться, а «он» уж тут, рядом; напирает на двери и гремит ключом в замке... И знаю я, чувствую я, что не спастись мне от него, но бегу из комнаты в комнату, бегу, бегу, бегу...

– Эх, не скулил бы ты, Меркурий Иванович, – с безнадёжным унынием перебил Михаленко.

– Но хуже всего, что гадок я себе самому, гадок! – страстным шепотом восклицал Славянов. – Отвратителен!.. Милостыней ведь живу, Христа ради... И все, все мы такие. Мертвецы ходячие, рухлядь! Старая бутафорская рухлядь! О-о-о, гнусно, гнусно мне!..

Он схватился обеими руками за ворот рубашки и разодрал ее сверху донизу. В груди у него что-то клочкотало и взвизгивало, а плечи тряслись.

– Уйди ты, уйди, ради бога, Меркурий Иванович! – умолял Михаленко. – Не надо, родной... боюсь я... страшно мне...

Шлепая по полу босыми ногами, с мокрым лицом, шатаясь на ходу от рыданий, Славянов тяжело перевалился на свою кровать. Но он еще долго метался головой по подушке, и всхлипывал, и горячо шептал что-то, сморкаясь в простыню. Не спал и Лидин-Байдаров. Крошки от ватрушки набились ему под одеяло, прилипали к телу и царапались, а в голову лезли все такие скучные, ненужные и позорные мысли о прошлом. Стаканыч, намазавший на ночь грудь и поясницу бобковой мазью, кряхтел и ворочался с боку на бок. Его грыз застарелый ревматизм, который всегда с особенной силой разыгрывался в непогоду. И вместе со словами молитв и привычными мыслями о сыне в его памяти назойливо вставали отрывки из старых, забытых всем миром пьес.

Один Дедушка лежал неподвижно. Его руки были сложены на груди, поверх одеяла, и не шевелились больше, а глаза были устремлены вперед с таким строгим и глубоким выражением, как будто Дедушка думал о чем-то громадном и неизмеримо превышаю-

щем все человеческие помыслы. И в этих немигающих, полужакрытых глазах, не проникая в них, отражался стеклянным блеском розовый свет лампадки.

А ночь тянулась нестерпимо долго и тоскливо. Было еще темно, когда Михаленко, охваченный внезапным страхом, вдруг сел на кровати и спросил громким, дрожащим шепотом:

– Дедушка, ты спишь?

Но Дедушка не ответил. В комнате была грозная, точно стерегущая кого-то тишина, а за черным окном бушевал ветер и бросал в стекла брызги дождя.